

Сергей ФРОЛОВ

(1936 — 2020)

СВЕТ ЖИЗНИ



— Ну и что, что ты писатель?! Толку-то, что ты писатель! Пишете!.. Хоть бы чё путное, а то ерунду всякую!.. Баламутите белый свет!.. И не стыдно вам от людей-то?! — моя восьмидесятидвухлетняя мать, вся усохшая, ужатая годами так, что с каждой встречей с ней у меня сердце пропадает неизвестно куда от страха за её жизнь, неожиданно объявилась на кухне нашей избы, где я присел с блокнотом у края обеденного стола, и ни с чего принялась пушить меня на чём свет стоит.

От этой ошеломляющей старушечьей выходки немудрено было впасть в полную растерянность. Я и про блокнот разом забыл, в который успел внести всего полстранички местных блюдений. На всякий случай, для памяти. Писать здесь как следует под вездесущим, вкрадчивым дозором матери, при виде простых, бедных стен избы, её

скудного обихода, при виде запустелых дворовых построек и неприютных полей за окном — нету сил. Мне всё время кажется в это время, что занимаюсь чем-то несерьёзным, пустячным. Но совсем по-другому обидно и горько, когда не только «кажется», а в яви слышишь укоры в никчёмности своего дела. Мать же, выговаривая, казнила меня вдобавок неотрывным страдальческим взглядом. Иссечённое морщинами лицо её было выражением одной лишь скорби, а в голосе прямо-таки с надрывом кричало само сердце:

— Пишете! Кому только пишете! Бумагу вам не жалко тратить. Ты вот глянь! — она приподняла перед собой крючковатые, заостреные грабельки некогда необычайно быстрых, ухватистых рук, и мне сейчас на них, выставленных к моим глазам, смотреть в такой близости... лучше зажмуриться! — Ты напиши,

сколь они за вами, за семерыми, пелёнок перестирали, гамна вытаскали. Какую уйму баз колхозных вычистили... ворохов зерна в веялки перекидали! Чиляками коваными, мужичьими! Да сена с соломой в навильниках — на воза! А с них — в стога! Зимой опять же к стогам едем... заледелым, по макушку в сугробах. На базы эти с голодной, зарёванной скотиной привезёшь — снова кидаешь... Там, — она качнула грабельками своими за окна, — фронт! Кровь и смерть... Не знаешь, чё завтра почтальон принесёт тебе. Тут, — показала вниз, под ноги, — жизнь, глухой тоской накрытая! Люди, как мухи сонные, ползают. Остались-то на бедствие старики — едва штаны держатся... ещё мальчишки, все, как один, заморыши, с голодной прозеленью вокруг ртов. А раздумом-то прямо из детей в мужики готовые... Да вдовы! У тех губы навек сжались. У каждой по камню тяжкому под сердцем... потягай-ка с ним гуж колхозный... А поля незасеянные заросли бурьяном — страх, как в лесу, берёт. На коровах много не напашешь. У каких и молоко из сосков в борозду бежало... Она чем только не сдобрена, земля-то эта. Его, хлеб-то, бывало, ешь, чуешь всё, что в нём!

— А почему молоко бежало? — спрашиваю, улучив момент, когда мать, разволновавшись, запнулась и на время умолкла.

Делаю это лишь затем, чтобы своим участием умерить её раздражение.

И что с ней вдруг? Ведь я не такой уж частый гость в родном дому. Не приезжаю по два, иногда по три года. И тогда в письмах её ко мне, в полутрамотных каракулях прямо-таки въяве слышен неизменный слёзный речитатив, причитания: «...и на кого же вы меня покинули... Одна тут в хороминах кукую... И двор пустой, и страшно-то мне без вас... И все ваши карточки на стенах перегляжу, со всеми переговорю. Только вы на них губы сжали, всё молчите и молчите... И когда я вас только дождусь, глаза мои скоро уж закроются совсем...» А сейчас такое обрушила на меня, прямо ошарашила. До этого всё ходила по избе, по двору, делая что-то своё, сильное. Но в разговоре участвовала неохотно, отвечала односложно, повернувшись, якобы занятая работой, спиной ко мне. Это затаённое недовольство копилось в ней, видимо, давно, и мои беглые записи в блокнот были лишь предлогом. Что-то иное, вкуче с ними, прогневило её. Может, я слово хвастливое, пустое за рюмкой при встрече сказал. Или чутьём поняла она привнесённую в этот быт, в бесхитростный уклад здешней жизни мою чуждую, несостоявшуюся суть.

И всё же, несмотря на обескураживающее обвинение, на всю неловкость своего положения,

я чем-то далёким-далёким, даже не пойму чем, воспринимаю её всю, вместе с досадными упрёками, как саму правоту.

— Почему молоко-то бежало? — переспросила мать с чуть теплевшей интонацией, и заметно было, как в её существе под старенькой, невзрачной фуфайчонкой колыхнулась едва уловимая волна благорасположения; в карих, глубоко запавших глазах блеснул свет мудрости и терпения. Она тут же каким-то уж очень своим, простым таким, домашним жестом, тоже говорившим о перемене настроения в ней, почесала голову под наглухо повязанным платком и принялась с усердием разъяснять мне, неразумному, простые житейские истины. — Да как же? Вот давай хоть тебя, хоть любого кого в цабан запряжём да под кнутом — пласты выворачивать... Тут не только... Хоть что побежит. Они, коровы-то, угробленные были. Уж не коровы совсем. Все больные. Вымя-то и не держало.

Речь матери стала напевней, благозвучней. Я слушал её вполуха и больше размышлял над тем, как легко подкупилась, оттаяла безыскусная, доверчивая душа матери даже на незначительное участие в её судьбе.

— Как-то дед Хромтыль с нами был, уж давно покойник... Ты его знал. Он ещё с той войны на деревяшке пришёл. Там

дед-то — поглядеть не на что, весь измученный, никудышный... Походи-ка по пашне на культяшке. Коровы наши совсем стали. «Всё, девки, не идут. Распрягать будем. Сколь мучить». Откуда ни возьмись, полномочный на тарантасе, на выездном колхозном жеребце, здоровый, как боров, ряшка шире колеса.. «Почему, растуды вашу?» — «Не идут...» — дед ему. «Пахать!» — «Не идут, милоч!» — «Под суд угодишь!» Дед побелел, весь затрясся. «Нюни распустили! Понимаешь...» — выхватил кнут у деда — и к коровам. Мы бегом за налыги, за цабаны. А он хлещет бедную животину без останову — только свист стоит! Коровы тужатся, животы, как лягушки, раздувают, головами мотают, той гляди оторвут. Тут же мараются, до рогов себя хвостами изгадили. А режут — страх слушать! Всё же прошли сажени три. «Вот так надо! — полномочный деду. — Мне чтоб до сих вспахали! Не будет — под суд!» И уехал. Мы опять стали пахать. Дед от одной упряжки к другой на культе бегаёт, хлещет, как полномочный велел. Десятка сажений не прошли наши коровы — попадали в бороздах. Головы на пашню уронили, стонут, как люди, в хрипе заходятся... Сейчас конец им будет! Слезы у них по мордам, по шерсти — полосами чёрными. Мы со страху не знаем, чё и делать, руки-ноги у нас

отнялись. А тут дед Хромтыль — оглянулись — к башне силосной идёт. Неподальчку она стояла, брошенная. Да вроде не сам идёт, а кто-то тянет его. И без шапки, где уж он её потерял, Бог знает. И кнут длинный за ним волочится... Вот этот кнут-то, да что идёт без шапки... Нас тут и надоумило: «Ведь он недоброе затеял». Мы — к башне, коров побросали. А они в ярме тоже удушиться могли. Да Бог с ними, с коровами, деда надо спасать... — мать всплеснула руками, обрывая речь, как бы не имея больше сил терзать свою душу. — Ох, да всё не перескажешь! Чё только не было. И всё глушью поросло. И мы никому не нужны стали, — она помолчала горестно, но вдруг встрепенулась, оживлённая иными воспоминаниями. — А окопы? Под Ростовом. Вон в какую далищу нас загнали. Всю зиму рыли. Стояли мы в селе, а окопы — за семь вёрст. Выходили тенью, чтоб ко времени успеть, ворочались поздно ночью. Днём-то мы эту дорогу и не видали. Хоть пурга, зги не видать, хоть мороз трескучий — попробуй не прийти...

...Мне было пять лет, и я помню её проводы «на окопы». Забирали по разнарядке баб и остаток нестроевых пожилых мужиков. За окном длилась зимняя ночь, ломясь мраком и тревогой сквозь стены нашей удручающе примолкшей горницы. На столе

у оконного простенка горела самодельная коптилка, едва освещающая наше сумрачное жилище с непроглядными, жуткими тенями в углах.

Перед тем тусклым светильничком близ заиндевелого окна сидела мать, одетая по-дорожному: в тёплую кофту с душегрейкой поверху, в валенках с неоттаявшим снегом на них. Она кормила грудью младшего брата Витька, не сводя с него остановившегося прощального взгляда. Бабка, понурившись, притулилась у голландки перед пустой, уныло покачивающейся люлькой, подвешенной на вделанное в матицу кольцо. На затенённой кровати комом лежали брошенные матерью пальто и шаль, ещё пахнущие в тепле избы дворовым, застенным холодом. Вместе со всеми отъезжающими мать с вечера снаряжалась на общем дворе в дорогу и вот, улучив несколько минут, забежала покормить братишку.

Снаружи звучно ударили в стылое окно, видно, кнутовищем по переплёту, и суровый мужской голос крикнул на морозе: «Эй! Айда!»

Мать вздрогнула, высвободившийся сосок окропил молоком лицо теперь уже впустую чмокавшего губёнками полудрёмного Витька.

— Копали длинно, народищу нас туда понагнали... — продолжала увлечённая рассказом мать. — Туда глянешь — живая

лента из людей до края земли, и в другую сторону так же. Степь, холод. Только пар из окопов от наших ртов. Да ломы: звяк! звяк! Раз ударишь — ложку земли отколупнёшь. Руки леденеют от железа. А погреться... На каждую версту стояли будки дощаные. Там — бочка с водой, заледенелая, вся в сосульках, буржуйка кое-как дымит... По пять человек отпускали — попить, погреться. Когда дойдёт до тебя очередь, а когда и обойдёшься. Доберёмся до постоя, одежда на нас, валенки, рукавицы — всё громыхает. Только и в избе, постое нашем, за день тоже всё выстыло. Давай дрова добывать, топить. Хоть просушиться... А кормёжка... Пшеницу пополам с сором давали. В железной ступе истолчём, потом лепешки печём. Думали, сгинем там, домой не вернёмся. И вся жизнь, считай, такая. Прокатились на нас, дураках. И сейчас не слезают. Вы поглядите. Какие мы теперь — брошенные! Случись захворать — глотка молока нету лекарству запить! Ни своего, ни колхозного! Вот до чего доугроблялись! Всю живность колхоз свёл за горючее да на зарплату, остались у него одни долги! Все наши труды рухнули! Нету моего ума эту чудищу уразуметь, мочи нет глазами глядеть на всё! А ты там пишешь! — мать опять, не управляя собой, перешла на опасный по надрыву, на грани

плача крик. — Про пенсию свою уж не говорю, над ней куры смеются! Пусть хоть и её заберут, раз им всё мало! Пусть и горем моим попользуются, трудоднями моими неоплатными! Из-за этих палочек проклятых у меня зарботка-то не оказалось, и пенсии шиш получился. Выходит, и тут я виновата! Что делать? Какими только слезами просить, какими молитвами молить? Или уж все осатанели — ни умирать, ни каяться не думают? Да, прокатились на нас так прокатились! Чё ж, катайтесь, только не знай, куда после задницей сядете...

Мать умолкла, словно выдохлась вся, и стояла передо мной со сложенными на животе руками, во всей своей обездоленной сути: маленькая, тщедушная. Как нищенка. Так выглядит до последнего обокраденный на гулком, бездушно и чуждо шумящем вокзале. Застыв в оцепенении, она вся ушла в свои горести, в упор смотрела на меня, но взглядом была даже и не в избе...

Я невольно потупился, бесцельно уставясь в блокнот.

— Вот и ещё скажу: неправда, докатаетесь... — внезапно заговорила мать. Я не поднимал головы, не видел её, и с того места, с середины прихожей, где стояла она на старых, припухших от тромбов ногах своих, предречения её доносились как из пустоты. Только звучавший голос казался

оттого ещё более вещим и жутковатым. — Увидите... Увидите и попомните...

Она снова умолкла. Стало так тихо, что можно было слышать собственную, такую непрочную, временную жизнь в себе. Тревога тишины и молчания усиливалась. Я не выдержал, взглянул на мать, снова забывшуюся, и внятней, чем в себе, распознал доходивший до меня остатний пульс её жизни.

— Нет, давай вернёмся к окопам. Кто-нибудь вами руководил там? Ведь сколько народу было... — снова поспешил я отвлечь мать. Чем ещё можно было помочь ей?

Мать помолчала, с трудом выбираясь из своего далёкого к этому дню, к нашей избяной обстановке. Но уже смотрела на меня со старушечьим всепониманием, с выражением привычного векового терпения, будто ей заведомо были ясны истинная цель и уловка моего вопроса. Наконец она заговорила как бы принуждённо, с недовольством:

— Как же не руководили... Спрашиваешь тоже... Ведь окопы-то не простые рыли. Под орудия, под доты, рвы против танков. Шутишь, что ли? Одни чё бы мы там накопили! Военные с нами были, — мать, переходя по обыкновению на наставительно-вразумляющий тон, постепенно оживлялась, опять заметная волна теплоты колыхнулась под

её фуфайчонкой. Что-то далёкое, доброе замерцало в её памяти, а голос уже стал напевным: — Нет, нет, военные с нами были... Все в белых таких полущубках, гро-озные... У нас литинант был. Молодо-о-ой, в наших годах. От нас не отходил.

— Надзирал? Подгонял, что ли?

— Нет, он хоро-оший был. Нестрогий.

Воспоминание об этом неведомом мне «литинанте» буквально преобразило мать: лицо её посветлело, морщины на нём словно бы помельчали, распрямились. И только у краешка ещё подрагивающих от пережитого волнения синеватых губ чувствовалась горчинка, как бы смущённость за неловкое, недостойное положение, в которое впала в недавнем крике-плаче. А голос прямо-таки вовсю пел:

— Жа-алостливый такой. Бывало, оглянется, кругом строгость же была, и говорит: «Девичата, как вы мучаетесь. Будь моя воля, я бы всех вас по домам отпустил». Молчаливый, серьёзный. Всё, бывало, чё-то думает. Иль долбишь, долбишь по одному месту: тюк-дзинь, тюк-дзинь! Обернёшься, а он глядит на тебя, глаза-то болящие такие, и тут же отвернётся. Или же кто из сил выбьется, он опять быстро так, озиркой, глянет по сторонам, лом-то отберёт и давай кромсать мерзлоту. Да ловко у него, ладно

так получалось. Помогал всегда, ведь ежели норму не сделаем, назавтра несконченное-то опять прибавят. Нет, нам с ним хорошо было. Уезжать стали — мы все накричались по нему. Крестим: да сохрани тебя Господь и Матерь Божья Милосердная... А ведь были и строгие — несусветные. Те всё чаще за кобуру хватались, командовали да отчитывали. Как я тебя нынче... — мать посмотрела на меня выжидающе, испытывая: не очень ли обидела? — Как я тебя отчихвостила-то... — она мелко-мелко и добро так, всепрощающе смеётся, маленькое усохшее тело её под фуфайкой тоже мелко содрогается, а в заслезившихся от смеха глазах затаённо мерцает свет ума и доброты.

Мне страшно представить, что когда-то он угаснет. С ним угаснет и жизнь в нашей старой избе... Тут же подумал и обо всём селе... Нет, пусто, неуютно без этого света на земле.

А пока я гляжу на мать и говорю самому себе: «Вот так «литинант» — добрый человек! Спасибо тебе, «литинант». Вряд ли ты уцелел в той немислимой бойне. Такие, отмеченные свыше знаком добра, душевной отзывчивостью, как правило, не выживали там. Всё, что тебе дано, — навсегда остаться в «простецких», как у нас в селе говорят, сердцах».

После обеда мы срубаем кочаны капусты в саду за сараями,

стаскиваем их на погребницу. Я оканываю под зиму кусты смородины, заодно прореживаю их. Срезал ножовкой больные и лишние сучки яблонь. Мать копошится тут же, собирает по убранному огороду случайные, реденько торчащие былинки, сухую траву. У меня мелькает мысль: вот эти неугомонные руки, бессильно тербящие корешки, и продлевают подворью жизнь, не дают окончательно подступиться лихому запустению.

Я перетаскал сучья к дровянику, изрубив их на топку.

— Ну, что нам ещё, хозяйка, надо сделать? — шутливо спрашиваю я, нарочито бодря голосом воздух невесёлой осенней поры, который так грустно ощутим тем, что мы с матерью в нём пока живём, работаем, помышляем между всем этим о сути своей.

— Всё мы с тобой поделали на нынче, — разгибается удовлетворённая итогами дня мать. — Теперь отдыхай. Отдыхай с Богом.

Мне отрадно слышать её «мы с тобой» и «на нынче». Значит, и в самом деле считает себя работницей, и есть ещё у неё интерес жить, если предусмотрено дело и на завтра.

Ухожу в поля — лучшее место, где хорошо думается. Возвращаюсь в село с другой стороны по взгорку. Предвечерье на земле. Просторно ветру в гулких пустых полях. Тяжёлые

предзимние тучи заволокли небо. Порой проглядывает печальным заоблачным светом солнце. Но не само солнце. Ключья небесного света, проникающие сквозь прозоры гонимых ветром облаков, мечутся по мрачно-серым просторам то вблизи, то перескакивают через село, на мгновение озаряя и целые пока колхозные строения — зерносклады, серый комель водонапорной башни, котельную; и унылые останки ферм — былой скотоводческий городок, зарастающий чертополохом и амброзией. Скользят по столбам, когда-то державшим кровлю «летней дойки», неприкаянно торчащим теперь в хмуrom небе, как сама бессмыслица. То высветят ещё более неприглядное нагромождение порушенной бросовой техники у мастерских. Село, из конца в конец

видное со взгорка, лежит, как сиротливое убогое захолустье. Две его улицы тянутся по обеим сторонам продолговатого пруда, повторяя кривизну берегов, их затейливые извивы.

Невольно останавливаюсь перед этим захудалым видом внизу. Сердце сжимается от безрадостной картины. И вдруг начинает казаться, как чуждый, жестокий мир, откуда я, собственно, приехал, теснит, удушает это селенье с моей маленькой матерью посреди него. Вон она склонилась у катушка, занята, по обыкновению, каким-то до смешного незначительным, мелким, но необходимым для неё делом. Может, посыпает корм в корытце своим пяти курочкам. Одна-одинёшенька на пустынном подворье, с «литинантом» в памятливом сердце.